

Продолжение*

На вопросы **Виктора Бакина**, члена Союза писателей России, отвечает первый лауреат Патриаршей литературной премии, Почётный гражданин Кировской области, замечательный русский писатель **Владимир Крупин**.

В.Б.: — *Из книги «Зёрна» с 70-х у меня осталась в памяти «Ямщицкая повесть». А ещё рассказ «Передаю...» Чем же для вас памятна и дорога эта книга помимо того, что она первая?*

В.К.: Как раз тем и дорога, что первая. Сейчас их у меня вышло далеко за двести, но без первой их бы не было. А ещё тем запомнилась, что её как-то хорошо приняли, о ней писали. По ней приняли в Союз писателей. Да, помню книжные магазины, на прилавках она мелькнула. И быстро испарилась. Ради улыбки расскажу о магазине «Урожай». Он был недалеко от Курского вокзала рядом с кинотеатром «Встреча». А так как я обязательно заходил во все книжные магазины, зашёл и в него.

И вот, вижу в разделе «Хранение и переработка зерна» книгу «Зёрна». Она была в нескольких вариантах переплёта: чёрном, сиреневом, зелёном, прямо натюрморт. Стоила 55 копеек, тираж 50 тысяч. Набрал, сколько мог унести. Я же с радостью раздаривал, рассылал. Хотелось же заявить о себе. Как молодая курица-несушка кудахтал. Меня этот «Урожай» выручал. По «Ямщицкой повести» хотели ставить кино, я и сценарий писал, и режиссёр в Вятку приезжал, но что-то не сложилось. Да и хорошо: все спектакли, кинофильмы по моим текстам оставили в памяти не лучшие воспоминания. Проза сопротивляется сцене и экрану. И это как раз говорит о ней хорошо.

* Начало беседы см. в журнале «Литературные знакомства» № 1 (52).

В.Б.: — *А кто в Союз писателей рекомендации давал? Тендряков, как*

автор предисловия к первой книжке, или кто-то иной?

В.К.: Да, он написал: «Прошу моё предисловие считать рекомендацией для вступления В. Крупина в Союз писателей». Ещё Анатолий Жуков, Георгий Владимов, очень хорошие писатели.

В.Б.: — *Не знал, что вы были близко знакомы с Георгием Владимовым. Его роман «Генерал и его армия» ценил Виктор Астафьев. Расскажите об этом писателе, который в своё время, насколько мне помнится, был лишён советского гражданства и долго жил в Германии.*

В.К.: Насчёт лишения гражданства — это выдумка. Сам уехал. Да, мы с ним были дружны, я редактировал его роман «Три минуты молчания», летал с вёрсткой в Сочи, где он с женой Наташей жил в гостинице актёров цирка. Рассказ мой «Пока не догорят высокие свечи» как раз оттуда, я был на свадьбе лилипутов. Наташа — дочь репрессированного начальника Госцирка. Бывал у них в доме около метро «Пионерская». В его доме познакомился с Битовым, с Алешковским. Через них — со Львом Копелевым. Владимов — человек думающий, писатель жёсткий, интересный. («Большая руда», «Верный Руслан»). В Германии вначале сотрудничал с Солженицыным, потом они разошлись. По инициативе Владимова. Похоронил жену, вернулся. Получил дачу в Переделкино. Там и похоронен. Была болтовня: меня уволили из «Современ-

ника» именно за защиту Владимова. Сам я ушёл, рвался уйти. А помогать Владимову издаваться мне помогло то, что я был секретарём парторганизации. Этим, кстати, был интересен на Западе. Как так: парторг, а самого не печатают. Как раз тогда у меня рассыпали набор книги «Живая вода».

В.Б.: — *Как рассыпали набор книги «Живая вода»? Подошёл сейчас к книжному шкафу и взял в руки вашу книгу под названием «Живая вода» — Москва, издательство «Советский писатель», 1982 год. Книга в мягкой корке объёмом 296 страниц, включает три повести и два рассказа...*

В.К.: Это уже спустя шесть лет. А так я «Живую воду» не мог напечатать с 74-го (год написания) до публикации в «Новом мире» в 80-м. Тоже изрезанный вариант. Интересный я автор: известен «Живой водой» да «Сороковым днём», повестями совсем заредактированными, а другие повести, больше двадцати, совсем не хуже двух названных, неизвестны и в обиход критический не вошли. Не обидно ли? А как рассыпали? Очень просто.

В.Б.: — *Объяснение какое-то было? Чья указка?*

В.К.: Объяснение одно: Главлит не подписал. Вот и всё. Главлит — это цензура. Которой, кстати, сейчас не хватает. При теперешней похабщине в средствах информации, пропаганде пошлости и насилия, при сценах разврата и хамства, как бы она была

нужна. Хотя бы какие-то нравственные барьеры выставлять. Так что я нисколько не сержусь на тот случай убийства книги. Писатель? Любишь родину? Терпи. Вспомним восточную поговорку: «Не приходится бояться, если пошёл на тигра».

В.Б.: — *Но в 1982 году книга под названием «Живая вода» всё-таки вышла. Чем взяли — упорством, настырностью?*

В.К.: Просто ожиданием.

В.Б.: — *По утверждению критиков, Владимов в творчестве наследовал традиции Льва Толстого, которого он считал «высшим художественным гением в русской литературе». Был ли у вас в начале творческого пути высший художественный авторитет?*

В.К.: Какого-то одного не было. Несомненно влияние в отроческих стихах Некрасова, Никитина, Сурикова, Кольцова, Есенина, в юношеских — Маяковского, Блока. Сейчас, конечно, уже давно и навсегда — Пушкин.

В.Б.: — *В отроческих стихах? Вы писали стихи, Владимир Николаевич?*

В.К.: Всю жизнь писал, с них начал, печатался. Понял — пишу хуже Пушкина, взялся за прозу. А проза кому хочешь хребет ломает. Разве случайно я сдружился с Гребневым. Сколько мы совместно нарифмовали... А начинал я со всего сразу. Вот первый стих: «Мир, сплотив миллионы сердец, // к коммунизму идёт. // А его ведёт товарищ Сталин, // наш

второй отец». 31 декабря 1952-го года. Сталин ещё жив. Но в тот же вечер и неплохое: «Растёт история, и вот, // мы вместе с ней растём. // И пусть войдём мы в Новый год, // как в новый дом войдём». Классе в шестом, то есть лет в 12, написал пьесу «Двойка». Правоучительная: ученик заигрался, уроки не выучил, получил двойку. Собрался с силой воли, отказался от приглашения на каток, сел за учебник и получил... нет, не сразу пятёрку, четвёрку. Интересно — у нас коньков не помню, всё лыжи и лыжи. Но соображал уже как режиссёр (сам же ставил) — с лыжами на сцене неудобно. Учитель спросил: «Где ты эту пьесу взял?» Я ответил: «Списал в журнале». Учитель поверил: такова правда соцреализма. Выпустил огромное количество стенгазет. Даже в нашей многодетной семье выпускал газету «Семья» — орган партийной (отец), профсоюзной (мама), комсомольской (брат и сестра старшие), пионерской (я сам и младший брат), октябрятской (младшая сестра) и беспартийной (дедушка) организаций. Жалко: это явление — стенгазеты — ушло в прошлое. В армии стенгазета «Зенит» нашей сержантской школы заняла первое место в Московском округе МО ПВО. «О, газета «Зенит» навсегда прозвенит», — самонадеянно писал я. Кстати, тут можно вставить текст одного из последних моих стихов на злобу дня: «Ты спросишь: — А как там в столице? //— Ты ящик включи, посмотри: // Прохожих в наморднике лица, // Сирены ночные ноль — три.

// — Где общества корни и кроны? //
Каков на грядущее вид? // — Живёте
без царской короны —// Живите с ко-
роной ковид».

В.Б.: — *Домашняя стенгазета
«Семья»? Никогда такого прежде не
встречал... И какие же там новости
помещались, какие пороки бичевались?*

В.К.: Право, не помню. У нас была
согласная семья, так все знали свои
обязанности (дрова, уход за домаш-
ними животными, поливка, прополка,
сенокос...), вроде и ругать некого и не
за что. А хвалить за то, что должны де-
лать и делали, тоже вроде смешно. Ко-
нечно, газетка эта была больше игрой.
Но какие-то навыки развивались.

В.Б.: — *Для многих первым побуди-
тельным шагом в творчестве стано-
вится влюблённость. А как было у вас?
Вообще, в юные годы вы были влюбчи-
вым человеком?*

В.К.: Необыкновенно! Я же стихи
писал. А как можно писать стихи и не
влюбляться? Стихи и любовь — си-
нонимы. Но в случае со мной важно
вот что: я пошёл в школу пяти лет
(смотрите рассказ «Кол с подпорой»),
девочки в классе были старше меня.
И все мои влюблённости им были
смешны. Да чаще я и любил тай-
но. Но для поэта несчастная любовь
необходима: она выращивает душу.
Дневник всегда вёл: вот лучший друг
отрочества моего, юности. Где-то лет
в 16 в нём написал: «Что делать, ви-
димо, меня никто не будет любить.
Мне остаётся работа». Все увлечения

помню и всем адресатам их благода-
рен. Но на поверку я оказался завзя-
тым однолюбом. С моей Наденькой
мы прожили 55 (прописью: пятьдесят
пять) лет.

В.Б.: — *И вы по-прежнему посвяща-
ете супруге стихи?*

В.К.: Да, многократно, особенно
на день рождения, который 31 дека-
бря. Но это же всё пустячки, каждый
может. Возьми какой-либо размер
и шарь. Да хоть под Гомера.

В.Б.: — *Надежда Леонидовна не
обидится, что посвящённые ей сти-
хотворные строки вы называете пу-
стячками?*

В.К.: А что же это, если не пустяч-
ки? Так, порадовать супругу, гостей,
только и всего. Сейчас любая район-
ная газета на последней странице
пестрит доморощенными стихами —
поздравлениями. Читаю. Иногда ша-
блонные, иногда вымученные, иногда
и мелькнёт что-то оригинальное.

В.Б.: — *Село Овсянка — родина
Астафьева, Тимониха — Белова, Усть-
Уда и Аталанка — родные места для
Распутина. Кильмезь — родина Крупи-
на... Наверное, не случайно все знако-
вые русские писатели последнего вре-
мени вышли из русской глубинки. Что
для вас родная Кильмезь?*

В.К.: Это — всё! Я и назвал давний
рассказ «Кильмезь — сердце моё».
И завещание написал, и у архиерея
оно заверено, чтобы меня похоро-
нили в Кильмези. Когда мне тяжело,



лежу с закрытыми глазами и мысленно бегу по тропинкам детства. И каждый день вспоминаю, как мы в жару окучивали картошку и ходили пить к роднику, который был недалеко. Вообще, родники и Кильмезь для меня взаимно дополняемы. Шли по берегу на сенокос и проходили 12 родников и пили по глотку из каждого. Кильмезь, Кильмезь... Есть такая пустыня среднеазиатская: Барса-Кельмес. В переводе: пойдёшь — не вернёшься. Так и моя Кильмезь: увидишь — не забудешь.

В.Б.: — *А как Кильмезь переводится? Есть толкование у этого слова?*

В.К.: Удмурты (вотяки) говорят: марийцы (черемисы) вышли на бе-

рег, оглянулись, а река замёрзла. Слово «кильмезь» так и трактуется: замёрзло. Но мне ближе перевод: стоянка. У нас исторически: татары, мордва, чуваша, целый интернационал. А ещё перевод, уже со среднеазиатского: «не вернёшься», уже называл. Впрочем, я глубоко не копал. Важнее нахождение моего села на Великом Сибирском тракте. Чем, помню, отец гордился, и меня заразил. Это же представить: вся Русь-матушка прошла под окнами нашего дома. Екатерининские берёзы вдоль тракта дожили до наших дней. Уже чернели. У меня один из первых рассказов так и назывался «Чёрные берёзы». А берёза — символ власти Белого царя.

В.Б.: — Я помню ваш родительский дом: двухэтажный, четырёхквартирный... Как же вы большой семьёй умещались в одной маленькой комнатке и кухне?

В.К.: А вот умещались. Да ещё кто-то всегда в гостях был. И дедушка (отец отца). Спали на полатах, печке, лавках. Но до чего же дружно жили! Просыпались от запаха маминой стряпни. Вечером на плите пекли пекульки. Делали уроки впятером, облепляли стол. В середине стола керосиновая лампа. Потом на два часа — электросвет, до 11-ти. Радио — картонная тарелка в простенке. Во дворе — корова, телёнок, поросёнок, куры, овцы. Счастливейшее время! Не пережившим — не понять.

В.Б.: — Ваши детские «рабочие» обязанности?

В.К.: Они же и детские, и взрослые. Это дела по дому, по хозяйству. Чистить хлев, пилить, колоть дрова, воды натаскать, грядки полить, картошку дважды-трижды за лето окучить, осенью выкопать, просушить, в подполье опустить... мало ли дел? Да всё, в общем, обычное, как у всех в селе, всё нужное. Некогда собак гонять. Реку, лыжи, санки — трудом зарабатывали. То есть не то, чтобы зарабатывали, а сами знали: как это я побегу с ребятами, когда на утро дров к печке не принёс и тому подобное. И друзья подбирались соответственно: большие семьи дружили с большими семьями. Кто у кого в доме заигрывался, там и за стол

садился. А то и ночевал. И никогда никакой ни к кому зависти. Школа, важно сказать, была вторым домом. Всегда кружки разные, самодеятельность, школьный театр, выступления по деревням. Субботники, воскресники постоянно. И не скажу, что это «обязанности», так жили. Это и было счастье начала жизни, готовило к жизни.

В.Б.: — А почитать любили? Какая книжка с детства в памяти?

В.К.: Ну, это отдельная тема. Да как же не любили, читали постоянно, в библиотеку ходили постоянно, книги брали. Читали, обменивались. Первая книга — «Родные поэты» 1947 года издания. Отец из области привёз. Знал её наизусть. Она жива в моём доме в Кильмези. Читал так много, что прозвали «запечный таракан». Мама с нами залезала на печь и полати и читала вслух. «Я ваши глаза берегла, — говорила она потом, — свет-то плохой, коптилка». А она и глаза, и душу сберегала. О, это теперь, как сон — мама с нами, мы замерли и слушаем. Был толстенский песенник русских песен, тоже читали. И ещё: в доме всегда пели. Праздники у нас незабываемы: мы на полатах, гости внизу за столом. И песни. Отец и мама очень хорошо пели. Ямщицкие песни, народные. Я этот песенник тоже считаю учителем жизни. И ещё сказки, былины, потом и классика...

В.Б.: — Владимир Николаевич, глядя из сегодняшнего далёка, какие 10

книг вы бы посоветовали непременно прочесть русскому мальчику?

В.К.: Русские сказки, русские стихи и рассказы о природе, рассказы о животных, сказки Пушкина (кроме как «О попе и работнике его Балде»), былины, «Робинзон Крузо», «Путешествия Гулливера», жития святых (в пересказе для детей), детскую Библию Шмелёва («Лето Господне»), вот вся десятка. Она сама расширит затем интересы взрослеющего ребёнка.

В.Б.: — *Взял с книжной полки вашу книжку, вышедшую в издательстве «Малыш» в 1989 году, под названием «В Дымковской слободе», рассказывающую о народном промысле, старинной русской игрушке. Дымка дивная! А в какие игрушки играли вы в детстве?*

В.К.: Вот этого как-то не припомню. У сестёр — куклы. Мальчишки, конечно, в войну играли. Там любая палка — ружьё. Покупных игрушек, кроме мотоциклистика, не помню. А игры были все на улице, команда на команду. Была и лапта, и выжигательный круг, и прятки. У девочек — скакалки, классики. Мячи были редкостью, пинали тряпичные, банки консервные.

В.Б.: — *А драки? Свои на чужих. А воровство яблок по чужим огородам? Мы в детстве даже лодки в соседних деревнях воровали на реке. Временно, конечно, чтоб только покататься... Ну, как же в эту пору без озорства? Без отцовского ремня? Помнится сие безголовство?*

В.К.: Виктор Семёнович, видимо, я нетипичный мальчишка, даже может кому-то показаться, что я рисую идиллию вятского детства. Но присягаю: какой там отцовский ремень, меня в детстве никто пальцем не тронул. Один раз в жизни я получил подзатыльник от старшего брата лет в 15: я загулялся, а спали мы на сарае, брат переживал. Ну и поддал, за что я ему благодарен. Драк тоже не помню. Но игры в войну были на команды, там схватки — боевые, до синяков, до царапин. Никто себя побеждённым не считал. Кражу яблок я живописно описал в рассказе «Отец, я ещё здесь», можно процитировать. Были, конечно, подкапывания картошки по пути на реку, как без этого. Зимой, в лунную ночь, взяли чужие сани и катались на них с горы. Потом на место поставили. Вот и все подвиги.

В.Б.: — *И как же такой нетипичный мальчишка задумал стать писателем? Что к этому подвигло?*

В.К.: Не знаю, это и для меня самого загадка. Знаю только, что всегда хотел стать писателем. Может, от этого был начисто лишён всех мужских увлечений: машинами, охотой, рыбалкой, спортом, азартными играми... Вот путешествия — остались, всегда тянуло за горизонт. Ну, уж и наездился, находился. А так — всегда одно: писательство.

В.Б.: — *Помнится, даже сделали где-то запись: «Я обязательно стану писателем»...*

В.К.: Да, записал в дневнике, который всегда вёл. Даже написал: «Клянусь, что буду истинно народным писателем», вот как. Но откуда взялась эта уверенность, не знаю. Помню — ночь, по радио в полночь по московскому времени звучал гимн. А у нас, в Вятке, уже час ночи. И вот — семья спит, я стоя слушаю гимн и пишу в дневнике: «Этой ночью, под звуки гимна, я клянусь...» и так далее. Но стал ли? Уж очень велика претензия, легко ли — народный. Хотя, слава Богу, сытых не обслуживал.

В.Б.: — *Это в каком возрасте было?*

В.К.: Лет, думаю, в 15–16. Ксерокопия дневников сохранилась. Можно уточнить.

В.Б.: — *Если бы сегодня стали писать книгу под названием «Кильмезская тетрадь», о чём бы непременно рассказали?*

В.К.: А «Кильмезская тетрадь» фактически написана. И повесть «Боковой ветер», и рассказы «Красная гора» и «Кильмезь — сердце моё», «Женя Касаткин», «Освящение престола», «Закрытое письмо», другие — всё о Кильмези. Да, значительный для меня рассказ «Лазарева суббота» — тоже весь кильмезский. Что-то новое написать? Хорошо бы. Так хочется набрать силёнок хотя бы странички на 3–4, чтобы воспеть Великий Сибирский тракт, на котором стоит Кильмезь.

В.Б.: — *Школьные годы чудесные?*

В.К.: Как иначе в кильмезском раю? Школа наша и на областном уровне была заметна. Кружки: тракторный, автодела, военный, школьный театр, постоянные соревнования в спорте, выступления самодеятельных артистов — всё было. Учителя такие, что многие ученики влюблялись в их предметы. И как всё школьное время мелькнуло! Но благотворный след оставило.

В.Б.: — *И что, в этом кильмезском раю — никто не предавал, не крал, не шкурничал, не убивал? «Помнить Бога и жить для души» — неужели это жизненное правило было незыблемо?*

В.К.: Дорогой Виктор Семёнович, ну вы прямо-таки добиваетесь, чтобы я какой негатив из биографии выкопал. Ну, не было у меня такого. А если и было, то я прочно забыл. Всё детство и отрочество моё для меня — это сияние солнечных дней, прекрасные родители, семья, школа, соседи, книги, труды, вера в грядущее.

В.Б.: — *Я почему такой подковырный вопрос задал, Владимир Николаевич. У протоиерея Андрея Логвинова, прекрасного русского поэта, накрепко связанного с Вяткой, есть такие признательные строчки: «Нас крестил // без дна российский омут. // И клеймом калёным // жгла Сибирь. // Оттого не можем // по-другому: // Или в омут — // или в монастырь». Ну, а русскому писателю — и то верно — как же без страстей, без душевных потрясений и ран... Вы же в детстве не в невесо-*

мости жили — соседи кругом, односельчане. И всё на виду — и горести, и радости... И, верно, всё замечалось, откладывалось как-то...

В.К.: Да, конечно, на всё наглядялся. Но вот такая была мама, всех оправдывала, прощала, от плохих впечатлений уберегала. На покойников запрещала смотреть. Да и зачем плохое помнить? Или так уже меня Господь устроил, что не видел я плохого, не встречал плохих людей. То есть, конечно, встречал, но как-то сразу отходил от них. И в более взрослые годы бежал от знакомства с богатыми и знаменитыми, в основном, среди них плохие. Первые полагают: ждешь подачки, у вторых надо быть в свите обслуживания. Андрей Логвинов, протоиерей, поэт замечательный, но почему нельзя по-другому, как раз у русских не два выбора в жизни, самое малое — всегда три дороги.

В.Б.: — *Весной 1957 году, когда вы заканчивали школу, в местной «рай-онке» опубликовали ваши стихи под названием «Матери». Помните их?*

В.К.: Нет. Надо же. А откуда вы узнали? Помню свою глупость стихотворную ко Дню выборов: «Сегодня день такой хороший, // природы стало не узнать: // всё с неба сыплется порошей, // а я иду голосовать». Или про берёзу: «Берёзы белые стоят, // поднявшись в вышину. // И тихо ветви их шумят, // приветствуя весну». А стихи матери не помню.

В.Б.: — *В нашем разговоре мы*

оставили в тени ваших родителей. Расскажите о них...

В.К.: О маме я рассказал в первой повести в рассказах «Варвара». Напечатана в 1972 году в ноябре в «Нашем современнике». Мама нас приучила ко всему, прежде всего, к порядочности. И, уверен, привела к Богу. Церкви уже не было в Кильмези, но мама всегда, провожая, говорила: «Идите с Богом», всегда, закончив какое-то дело, говорила: «Слава Богу». И вот эти слова накрепко вошли в меня. Она уже в 18 лет была членом правления колхоза. Сёстры отца были не очень довольны его выбором: образование у неё — только начальная школа, но с годами они поняли: брату их досталось сокровище. Она в одиночку тянула огромное хозяйство, без которого бы мы не выжили. А война! Отец — инвалид по зрению, но его призвали в трудармию, а это та же армия, ещё и пострашнее. А потом, он же лесничий, он всё время в лесу, мама опять одна. И успевала нас всех обшивать, была у нас машинка «Зингер», помню, как она стрекотала. Ночами мама вязала носки, варежки. Ещё была в родительском комитете, выбиралась народным заседателем. И никогда не кричала, не сердилась. Спящей я её увидел только в старости. Пела замечательно. Помню памятью слуха, как она пела любимую песню: «Край мой, единственный в мире, // где я так вольно дышу, // поле раскинулось в шири, // к роще знакомой спешу. // Вот она, милая роща, // ветер шумит над рекой. // Ветки рябины по-

лощет, // сон нарушая лесной. // Будто
опять ты, безусый, // рядом со мною
стоишь. // Вместо кораллов на бусы //
гроздь рябины даришь. // Будто бы
смех её звонкий // в чаще лесной раз-
дался. // Только у этой девчонки // есть
уже снохи, зятя». И финал: «Хочется
милым берёзкам // низкий отвесить
поклон, // чтоб заслонили дорожку, //
ту, что ведёт под уклон». Сейчас вспо-
минал слова песни, жена помогала
вспоминать, включили исполнение
песни Ольгой Воронец, стали подпе-
вать и оба заплакали. Какие чистые,
освежающие слёзы... К маме тянулись.
Шли к ней за семенами: огородница
она исключительная. Тыквы осенью
мы и тащить не могли, катили по зем-
ле. Раз я играл с ребятами на Крас-
ной горе. Жгли костры, прыгали через
огонь. И я схватил искру на телогрей-
ку, вата затлела, тогда я увидел: на
груди выгорела дыра. Забили снегом.
Мне было стыдно перед мамой: бедно
жили. Постеснялся сказать. А утром
обнаружил — дыра аккуратно зашто-
пана. И мама ничего мне не сказала.
Любила внуков, дожила до правнуков,
опять же и для них — носки-варежки.
А её коврики, её половики доселе
у нас как память. Отец любил маму,
из леса без цветов для неё не возвра-
щался. Он ушёл от нас в 77 лет, мама
дожила до девяноста. Оба в одной мо-
гилке на Ново-Макарьевском кладби-
ще Вятки, недалеко от часовни.

В.Б.: — *«Жить будешь-не будешь,
а сеять-то надо!»* — любил говаривать
мой отец, инвалид войны, доживший

до 95 лет. Сейчас нередко вспоминаем
с женой его слова как некое правило,
лекарство от лени. А у вас остались
от родителей какие-то наставления
на всю жизнь?

В.К.: Эту поговорку отец так гово-
рил: «Помирать собрайся, а рожь сей».
Тот же смысл. Наставления были, ко-
нечно. В армию уезжал, помню, отец
сказал: «Ну, Владимир, вперёд не суй-
ся, сзади не оставайся». Мама всегда
тоже увещевала: «Смеются над тобой,
а ты громче их смейся». Или (о тех,
кто над тобой издевается): «Дай, Го-
споди, им здоровья, а нам терпения».
Главное наставление — образ их жи-
зни: нестяжательство, скромность, не-
завистливость, согласие с совестью.

В.Б.: — *А почему такой выбор после
школы — работа слесарем по ремонту
сельхозтехники?*

В.К.: Сразу после школы я не мог
никуда поступать, не было паспор-
та, кончил школу в 15 лет (выдава-
ли с 16-ти). Но уже всю писал и на
совещании рабселькоров областной
газеты «Комсомольское племя» по-
бывал. И меня позвали работать
в районную газету. Она называлась
«За социалистическую деревню»,
двухполоска, приказали назвать «Со-
циалистическая деревня», сделали
четырёхполоской, штат увеличили.
И в ней-то я и работал два года. Пы-
тался в 58-м поступить в Уральский
университет на факультет журна-
листики, не поступил (чему очень рад),
из газеты ушёл в слесаря по ремон-
ту сельхозтехники, тоже год (писал

в дневнике: «Я считаю свои знания о жизни недостаточными»), летом 60-го был начальником районного пионерского лагеря, осенью ушёл на три года в Советскую армию. Привезли в Москву, в Москве и в институт, наконец, поступил.

В.Б.: — *Значит, знаменитый невестами МОПИ. «Попал в МОПИ, так не вопи!» Но почему именно Московский областной пединститут?*

В.К.: В Литературный институт на творческий конкурс я посылал рассказы и до армии, и находясь в ней. Конкурс не прошёл. А я, как всегда, был влюблён, и, как всегда, в библиотекаршу. Людмилу Сергеевну. Она со мною занималась орфографическими правилами и синтаксическими: что чем выражено, где корень, где суффикс, где окончание. И именно она взяла мои документы и увезла именно в МОПИ. Уверен, всё по промыслу Божию. Великий институт! Великие преподаватели! До сих пор я с ним (теперь это университет) дружен. В МОПИ встретил и свою судьбу, свою Надежду и с большой и с маленькой буквы. Я же не из-за московской прописки женился, а по любви. Как бы иначе мы прожили 55 лет, и прожили и пережили всякие страдания и лишения, без любви? Нас в МОПИ не на писателей учили, на преподавателей литературы и русского языка. Нагляделся я потом и на Литинститут изнутри, в который меня пригласили вести творческий семинар. Это же дико — выучить на писателя.

В.Б.: — *Похоже, самое время перечитать повесть «Прости, прощай...» Ведь именно там, если мне память не изменяет, изложено студенческое житьё?*

В.К.: Да.

В.Б.: — *«Что тогда литература? Улучшение души...» — так считает герой повести «Прости, прощай...» Согласны с таким утверждением?*

В.К.: Для кого как. По высшему счёту, помощь людям — прийти к Богу, войти для начала хотя бы в церковную ограду, хотя бы подняться на паперть. Хотя бы понять всю мудрость русской пословицы: «Без Бога ни до порога». Так и было в начале письменности, потом в средние века, потом литература стала обмирщаться, докатилась до обслуживания интересов плоти. Катился к нам католический и протестантский Запад. То и другое обезбожено. Христологическое толкование Священного Писания устранено. Получили революцию. Хорошо хотя бы вдолбить атеистам мысль: если Бога нет, что ж вы не стреляетесь, зачем живёте? Но это, конечно, мои убеждения. Знаю — среди писателей их разделяют далеко не все. Но — всё-таки что-то движется.

В.Б.: — *Ещё одна цитата из повести, созвучная нашему времени: «Уединение хорошо самоуглублением, а это полезно. Увлёкшись Толстым, его статьями, я угрызался собственным несовершенством. И чем больше всматривался в себя, тем в большем ужасе отшатывался. И было отчего. Люди*

совершенной жизни принимали за грех тень мысли о грехе. Вот и доживи до такого совершенства. Попробуй, по Толстому, любить того, кого не любишь. Мясa не ешь. Босиком ходить. Как это всё исполнить?..» Так как же любить того, кого не любишь?

В.К.: Со времени этой цитаты годы прошли, и они излечили от чтения Толстого: враг Православия. Бог ему судья. А как любить того, кого не любишь: тяжело. Читаю отцов Церкви, учусь. Уже хотя бы не ввязываюсь в упреки и осуждения оппонентов. Следую правилу: прощай своих врагов, со врагами Христа сражайся. Слабы мои усилия, но надеюсь: что-то удаётся. Главное — любить Бога и Родину и передавать это вслед идущим. И это не простая риторика, а выстраданное убеждение.

В.Б.: — Толстой — враг?... Хорошо, можно не читать его «Исповедь», его «В чём моя вера?», другие его религиозные статьи после «перелома». Но как быть с «Казачками», с «Войной и миром», наконец? Изгонять из учебников? Вымарывать его имя из истории русской литературы?

В.К.: Ну, как вымарывать, когда он прочно в ней поселился. Но говорить о вредности его учения надо. Да и «Казачки», и «Хаджи-Мурат» — вещи прокавказские. «Воскресение» прямо ужасно. «Анна Каренина» — апологетика супружеской измены, «Крейцера соната» прямо направлена на разврат, на разрушение основ семьи. «Война и мир» — судя по тому, как

встретили её ещё живые участники Бородинской битвы, тоже искажала правду происшедшего. То есть, читать с рассуждением.

В.Б.: — Но если «Воскресение» — ужасно, «Анна Каренина» — апологетика измены, «Крейцера соната» — разврат, «Война и мир» — искажение исторической правды — то, что остаётся? Ничего! «Филиппок» и прочие детские рассказы?.. Зачем же нам в истории русской литературы такой безнравственный писатель? Зачем его вообще читать?

В.К.: А чем плохи детские рассказы? Филиппок печатался искажённым, сейчас выправлен. Впрочем, что мы застряли на Толстом? Ему все жить мешали, особенно Шекспир, примерно как Шолохов Солженицыну. Тоже самомнение непомерное.

В.Б.: — Когда Толстого настоятельно просили от религиозных трактатов вернуться к художественной работе, он однажды привёл весьма образное сравнение: «Знаете, это мне напоминает вот что: какой-нибудь состарившейся французской б... её бывшие обожатели повторяют: «Как вы восхитительно пели шансонетки и придерживали юбочки!..» По воспоминаниям Максима Горького, Лев Николаевич любил прибегать к крепкому словцу. И это — граф, человек высшего общества... Насколько знаю, вас подобная грубость всегда коробила.

В.К.: Да, коробила. Хотя и я не красная девица и армию старшиной

дивизиона закончил, но ругань всегда мне претила. Никогда не ругались ни Распутин, ни Белов, ни Евгений Носов, а вот Астафьев, к сожалению, выражался. Потом эта его привычка из устного употребления перешла в письменную. И что? И получилась правда жизни? Грубость получилась.

В.Б.: — *Владимир Николаевич, не писать о войне, об этой грязи и ужасе разве можно нормальным человеческим языком?*

В.К.: Можно. И нужно. Тот же Астафьев, его повесть «Пастух и пастушка», которая выходила до перестройки (потом он в неё вверстал мародёрство, насилие, матерщину), повесть «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, повести Василя Быкова, «Красное вино победы» Евгения Носова, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Эхо войны» Анатолия Калинина, «Они сражались за родину» Шолохова, «На западном фронте без перемен» Ремарка, Бёлль... Всё написано нор-

мальным языком. Будто мы не знаем — в окопах матерятся. Не все же. У меня был знакомый офицер, прошедший Афган. Он не потерял за все боевые действия ни одного бойца. Объяснял это тем, что его бойцы не матерились.

В.Б.: — *Ну, а народное творчество, частушки ядрёные, с перчиком... Не хочешь, может, да крепкое словцо само вылетает... «Задал Митенька вопрос — // и прощай родной колхоз. // Говорили ж Митеньке — // не пи... (болтай) на митинге».*

В.К.: Согласен. Но всё равно — надо избегать их употребления. Матерящийся подросток более извинителен, нежели мужчина, тем более, старик. Прискорбно читать, что и Бунин в старости сквернословил. Это же всё равно как-то отражается на человеке. Не я же выдумал — не только за каждое нехорошее слово, но даже и за то слово, которое можно было не говорить, надо будет дать ответ.

Продолжение следует.